

Сергей К. Данилов

Между Третьим и Четвертым



Сергей Данилов

Между Третьим и Четвертым

«Издательские решения»

Данилов С. К.

Между Третьим и Четвертым / С. К. Данилов —
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-856564-9

Жизнь окраинного городского квартала между Третьим и Четвертым Прудскими переулками в начале гагаринской эпохи освоения космоса, скоро после объявления здесь темной августовской ночью Вещей Дарьюшки, Долгожителя Васюты, Нездешнего мальчика Яши, а также вечного супротивника их — Змея Орыныча.

ISBN 978-5-44-856564-9

© Данилов С. К.
© Издательские решения

Содержание

1. Вещая Дарьюшка	6
2. Чего народ не знал	15
3. Долгожитель Васюта	23
Конец ознакомительного фрагмента.	26

Между Третьим и Четвертым

Сергей К. Данилов

© Сергей К. Данилов, 2017

ISBN 978-5-4485-6564-9

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

1. Вещая Дарьюшка

Жила-была старушка по имени Дарьюшка. Была она одинокая, ни детей не имела, ни семьи, ни родственников даже самых дальних, перебивалась с хлеба на квас в маленьком домике на окраине города, между Третьим и Четвёртым Прудскими переулками, по нашей улице.

До выхода на пенсию работала Дарьюшка на дезостанции, успешно справляясь с ежемесячным планом уничтожения крыс, тараканов и прочей нечисти, согласно заявок общепитовских точек, детских садов да общежитий. За труд свой к праздникам получала небольшую премию – рублей десять-пятнадцать. Так и жила на зарплату с добавкой, а летом – ещё на своих овощах с огородика, в собственном доме о две комнаты с кухней одна-однёненька и горя не знала. На пенсию вышла, оказалось пособие по старости до смешного малым, честно говоря, вовсе не прожиточным: двадцать два рубля без пятнадцати копеек. Тут уж делать стало нечего, пришлось пускать квартирантов в одну комнату за десять рублей в месяц.

От постной жизни начали сны ей вещие сниться. Однажды рассказала ближней соседке Анне Фроловне, будто привиделся ночью академик научный, да не один, с важным генералом в придачу. Академик совсем невзрачный, дохленький такой, сутулый, чуть ли не горбат, а вот умеет так ногой специально топнуть, что Америка той тряски сильно пугается. Будто бы топнул опять академик-герой ножкой сухонькой, землю встряхнул знатно, что вихорь чёрный поднялся до самых небес и давай в округе заборы ломать, деревья валить, провода электрические рвать, генерал тому порадовался, налил академику стопочку коньяка армянского. Стоят они, выпивают – празднуют победу. А генерал из себя ничего – справный мужчина. И говорит академик тост: пусть бы, дескать, всегда мне ножкой топать по родной земле приходилось, дабы свои заборы ломались от ударной волны ядерной, а не чужие стены, и тем самым обходиться без международных конфликтов! На что генерал ему ответил: «Куда тебе скажут, штафирка, туда и топнешь! Пей давай, не умничай!» На что академик, конечно, обиделся, а коньяк всё одно выпил, потому что любил очень.

– К чему может быть такой сон?

– Несуразное видение, – подумав, высказалась Анна Фроловна, – ни к селу ни к городу, совершенно бессмысленное. Ну, сама рассуди: пришла бы ты, допустим, к нам в гости, налил бы Кузьма коньячку армянского, пусть даже пять звёздочек, закуску на стол выставил и вдруг обозвал тебя штафиркой, разве стала бы ты пить с ним тот коньяк?

– Ещё чего не хватало! – нахмурилась Дарьюшка.

– Ну вот. А тут академика – штафиркой, а он бы, значит, вам улыбался, заздравно чокался, коньяк тот лакал и не поперхнулся? Чёрт-те что, несуразица сплошная.

Однако Дарьюшку сон не отпускал, измучилась, голову ломая так и этак, пока не сообразила, что видение прямо в руку шло: ведь и правда зачастили последнее время в их сибирской природе небывалые прежде землетрясения. А коли тряхнёт земельку под ногами сегодня, жди в скорости бури чёрной, несущей тучи чернозёма с поднятой целины кулундинской, казахстанской, семипалатинской, даже если полное безветрие на дворе стоит. Начала Дарьюшка ураганы предвещать, уговаривать соседок не вывешивать после тех трясений малозаметных стирание белье в огороде сушиться – унесёт обязательно завтра вместе с веревкой к чёрту на кулички, не найдёте бельишко, а коли сыщите, так будет чёрное, придётся потом два раза перестирывать. И точно, подтверждались слова её тютелька в тютельку, словно и впрямь академик-герой топал где-то по родной земле. Стали соседки Дарьюшку вещей кауркой величать ради смеха, а потом и не до смеха стало.

Тогда же сделались с ней на диво приветливы сестры-богомолки, снующие туда-сюда по церковным делам день-деньской проворными мышками-норушками, на старости лет будто близняшки, хотя Марфа старше Екатерины лет на пять. Обе согбенные, от постов истощенные до крайности, в тёмные одежки с головы до ног облачённые, да укутанные настолько плотно, что в жаркую летнюю пору невольно сочувствием проникаешься: как бедолаги не сгорели, не задохнулись в чёрной упаковке шерстяной? Одни глаза из-под низко повязанных платков истово горят, фанатично. Закружились вокруг Дарьюшки, принялись с двух сторон уговаривать завещать имущество: «А мы за тобой, как заболеешь, ходить станем, призреем, причастим, схороним по всем правилам, службы за помин души батюшка справит наилучшим образом, так что митрополит позавидует, молитвы поминальные читаться будут до скончания века по рабе божьей Дарье».

Усомнилась пенсионерка: не рановато ли? Вроде жизнь организму покуда терпимая, нога правая сильно побаливает с утра, а днем расходишься, так и ничего, если рюмочку где в гостях подадут – спляшешь веселья ради. Напомнили тогда сёстры во Христе с укором про игольное ушко, через которое верблюду легче пролезть, чем скупому в рай попасть, на что Дарьюшка ответила суховато, что верблюдов тех, по слухам, плюющих в лицо человеку целым ведром слюны, слава богу, в глаза не видывала. Не зналась с подобным скотом, не из нашей они жизни – в городе нынче и козы днём с огнём не сыщешь, свинюшки ни у кого нет с курёнком. По велению родной партии полностью живность изведена и уничтожена. Так что ей эти присказки совершенно ни к чему, ибо смысла они реального не имеют.

Следует уточнить: из себя Дарьюшка не велика фигура – росту низенького, одёжку предпочитает немарких цветов ближе к линялому, донашивает всё из прежнего, нового ничего давным-давно не покупает и на вид самая что ни на есть обычная старушоночка-прихожанка, но церковь посещает лишь на Крещение, когда полночи за святой водой в очереди стоит, еще на Пасху сходит – куличи освятить – и достаточно. А главное, помирать не думает собираться, хотя на здоровье каждый день соседкам жалуется. Укорили богомолки Дарьюшку недостатком истинной веры, намекнув, что при окончательном расчете на том свете много угольков достаётся тому, кто в церковь не ходит, о смерти неминуемой ежечасно не размышляет и к ней заблаговременно не готовится. Но разъясните, добры люди, какая после многолетнего стажа на дезостанции с дустванием отхожих мест может возникнуть у человека вера в райское блаженство?

Отослала сестер-богомолок по делам их духовным бегать далее, а сама, конечно, придумалась вечером: возраст уже и правда серьезный, пенсионный: кто упокоит, поминки закажет, (похорониться-то мечтала по-христиански, раз во младенчестве крещёная), кто опять же воды подаст на смертном одре? Жила у неё на тот момент прачка Полина, женщина весьма здорового поведения. С лица воды, конечно, не сильно напьёшься, зато компаниями развесёлыми не обременённая и по кинотеатрам шибко не бегавшая. Иногда в воскресенье на утренний сеанс сходит, вернётся, всё обскажет в подробностях, как, что и почему на экране показали, одним словом, – приличная женщина, от бедности своего угла не имеющая. За рабочий день ухряпается квартирантка в прачечной, настирается там до отвала, придёт домой – начинает Дарьюшке помогать: ужин готовит, печку топит, снег кидает или огород поливает, носки вяжет, да мало ли какой работы в хозяйстве. А отдыхает, как и Дарьюшка, сидя за столом, глядя на улицу через окошко, спектакль по радио слушая и семечки щёлкая. Главное – пьянки-гулянки абсолютно её не волнуют, живёт себе и живёт в степенной здравости, никуда не торопится.

Договорилась с ней Дарьюшка, чтобы взяла она на себя последние хлопоты, за это подписала завещание на движимое и недвижимое имущество на её имя, у нотариуса заварила, не поленилась, по закону оформила, как меж честными людьми делать полагается.

И даже порадовалась втихомолку за квартирантку: так-то одинокой, без крыши над головой трудненько замуж выйти по нынешним послевоенным обстоятельствам, а тут окажется со временем женщина в своем домике законном, то, может, и найдётся кто подходящий. Умрёт Дарьюшка, похоронит её Полина чин чинарём и, ради бога, пусть своей семьей тогда обзаводится. Что для осуществления этих мечтаний надобно самой отдать концы, нимало не расстраивалась, хорошо ведь простым людям известно: когда время придёт – никто спрашивать не станет, хочешь ты дальше жить или надоело в белый свет zenки пялить. Дезинфектор тоже, небось, не шибко расспрашивает тараканов, как они на свое будущее смотрят. Раз попали в план работы, значит сдохнут сегодня, никуда не денутся.

Опыт всей предыдущей жизни говорил Дарьюшке, что верхний боженька относится к собственным созданиям не добрее, чем специалист в резиновых перчатках к мухам в отхожих местах: не глядит при этом ни на какое их поведение – ни на хорошее, ни на плохое. Дедунька выучил Дарьюшку Писание читать, псалмы петь, а где тот дедунька, где тятя с мамой? Где сестренки с братишками и прочий деревенский люд, рабы божии? Пришли дезинфекторы-комиссары Ленин-Троцкий со Сталиным, вымели Род на лесоповал, отдали упырям-уголовникам на съедение, никого нынче в живых не осталось, одна Дарьюшка случайно вырвалась – может одна из тысяч, – бросившись от насильников в широкую северную реку, холодную, как Ледовитый океан, туда и втекающую. А мучения крестьянские много страшней были, чем сын божий Христос на кресте претерпел, куда как ужаснее. Даже сравнивать нечего, забыть бы бог дал, а вот не даёт, мучает памятью вечной.

Если боженька един всех создал, зачем так над ними распорядился, коли правда милосердный и всех любящий отец? Чтобы и спустя много лет она молчком трепетала денно и ночью? Если бог весь Род уничтожил, значит, не их он бог оказался, может, конечно, кого другого, но не наш, чужеродный. Настоящий родной бог уродов да выроdkов, законы преступающих, наказал бы, а Род сохранил. Этот – дурной суд произвёл, жестокий, вражеский, уродов размножил неимоверно, власть им дал народ до конца до края мучить. Без нужды в нем Дарьюшка нынче.

Что касасяемо смерти, здесь главное, чтобы в гробу пристойно лежать, чтобы все соседи пришли проститься, духовой оркестр похоронный марш сыграл и возле дома на выносе, и на кладбище, чтобы у провожающих слеза ненароком навернулась, на поминках вспомнили добром, тогда и хорошо будет, значит, жизнь прожита не зря. Что до прочего – суета сует и всяческая суета, так в Писании дедусином верно было сказано. Раздумается-размечтается Дарьюшка о своих достойных похоронах, что будет лежать она вся в белом, чисто невеста, пусть и в церкви отпоют, если денег на то у Полины достанется, и необыкновенно радостно на душе сделается: спокойно, умиротворённо, слеза чистая пробьёт, аж всплакнёт втихомолку от счастья. А следом встрепенётся старушка, спохватится: пенсии в последнее время ни на что не хватает, как бы промашка не вышла с белыми одеждами, заветный денежный платочек весь растаскала на самые насущные нужды.

И вот приснопамятно буйным да жарким летом нежданно-негаданно потеряла Дарьюшка свою квартирантку Полину Феофанову – прачку банно-прачечного комбината тридцати пяти лет от роду, в одиночестве замкнутую на рукоделии, которой сама незадолго перед тем, по собственному желанию, завещала в письменном виде состояние. Лето выдалось чересчур лихое – от того и случился полный разор в хозяйстве. Вдобавок к ураганам нагрянули грозы июльские с моляньями в полнеба, от чего многие огороды оказались выбиты под корень. Издревле знамо, что наказание небесное полосой ходит: у одного ничего не тронет, у другого – живого места не оставит, так бывают и у дезинфектора огрехи в работе, чай не железный. Картошка на полях сильно пострадала, значит – жди: цены взыграют осенью. Власть на кукурузе помешались, из Москвы сибирские колхозы заставляют новую культуру выращивать под страхом военного коммунизма, хлеб из магазинов пропал, снова

очереди люди затемно у дверей занимают, задолго до открытия, стоят, ждут, Никиту ругают, анекдоты про него рассказывают. Много анекдотов, и все на одно лицо, словно бы под копирку сделаны. Карточек в мирное время ещё не ввели, но дело к тому движется семимильными шагами.

Памятное утро выдалось солнечным, спокойным, земля прежде не тряслась, и день обошелся без светопреставления, лишь ближе к вечеру заморочало на горизонте со всех сторон сразу. Быстро-быстро напозла с запада страшным дьяволом туча чёрная, американским атомным авианосцем затмила белый свет, поднялся ветер ниоткуда, резко стемнялось, дождище ливанул, морозным хладом с неба дохнуло. Быть граду! Сломая головы кинулись жители в огороды: кто половиками прикрывать посадки, кто старым хламом, да хоть пачкой газет «Правда», – побьёт ведь последнее, придётся зимой лапу сосать.

На двухэтажном казённом бревенчатом доме, что по Четвёртому Прудскому стоит уже лет пятьдесят, не меньше, ударно громынула крыша от налетевшего шквала: раз, и другой, и третий... Оторвались железные листы с одного ската от досок и давай на ветру трепыхаться, скрежеща большой железной птицей, что изо всех сил мечтает взлететь в поднебесье. Без крыши нынче остаться горше, чем без овощных запасов, лучше сразу окончательно и бесповоротно погореть, чем под непрерывными дождями гнить многие лета. Где железа листового достать? Или шифера да хоть рубероида какого, гвоздей? Ничего же нет в магазинах, всё как градом выбило в революцию раз и навсегда.

В доме том две семьи жили сверху, две снизу. Выскочили на улицу, кто в чём, не до огородов им стало, когда недвижимость последняя на небеса улетает: бегают бабы со старухами, кричат, переполох подняли, лестницу тащат ставить. Поставили. Бросился наверх фронтовик Скурихин, самый безрассудный, а потому против всех послевоенных правил одинокий в гражданской жизни человек, с полным ртом ржавых гвоздей и молотком наперевес. Только на крышу выскочил, гвоздь изо рта дёрнул, молотком нацелился лист под собой обратно к доске пришипил, тут же очередной порыв рванул, вся крыша вмиг вздёрнулась, поднялась на воздух, лязгая Змеем Горынычем, да как наподдаст железным хвостом фронтовику, тот аж выше конька и подлетел. Лестницу от дома прочь отбросило. На дорогу падая, переломилась пополам. Кувыркнулся в воздухе фронтовик котом бывалым, с крыльца пнутым, хорошо хоть на край крыши грохнулся, а не вниз ушел. Плашмя, всем телом, руками, ногами, лицом об железину трахнулся. Распластался, лежит, хочет весом полотно на месте удержать. Куда там! Лёгко больно пьющий без закуси человек, худой, но боец прирождённый, пока жив – сражается молчком: с морды кровь хлещет, а гвоздей изо рта не обронил. Молотком колотит, нет, не успел нажить, опять хлопбыстануло, подкинуло, ударило, и ещё, и ещё... Издевается железный дракон над фронтовиком, ровно фашист, футболит, пинает его так и этак в воздухе, вниз пасть не даёт. Уж, кажется, вся крыша, все листы ржавые мокры стали от крови, а не дождя.

Видя такое дело, бегавшие внизу закричали в голос, что крыша улетит и фронтовик с ней, да разобьётся. Заохали бабки, завывли, схватили растрёпанные головы: «Что же это такое делается? А? Божье наказание, не иначе!» Дурачок Федя, как всегда под вечер, дождь ему не дождь, бредущий по дороге в баню с сумкой и березовым веником (в конце смены банщицы позволяли Феде помыться бесплатно, а мыться дурачок любил больше всего на свете), заплакал, замычал, указывая пальцем вверх.

– Что, Федя? – спросила одна женщина убогого. – Жалко тебе человека?

Федя завыл нечленораздельно, слезы брызнули из глаз. Говорить он не умел.

– Ишь ты, как переживает, сердешный. Иди Федя домой, какая нынче баня? Иди, а то вымокнешь весь.

Крышное железо реяло выше дома греющим полотнищем, оторвавшись повсеместно до самого конька, подкидывая фронтовика вверх, ловя и снова подкидывая. Бывалый повар так орудует сковородой у себя на кухне, переворачивая блин на лету, с пылу с жару.

– Ох, убьётся!

Но фронтовик помирать не собирался: летал, бился и ждал минуты, когда шквал хоть немного стихнет, гвозди у него по-прежнему крепко сжаты стальными зубами, молоток держит наизготовку. Таких фронтовиков, яростных, по тому времени кругом (в смысле: субботним вечером у винного ларька) пруд пруди, да каждый первым готов в атаку рвануть, все единым духом живут. За войну Скурихин Иван поднялся из рядовых в капитаны, ротой bravо командовал не в силу успешного выбора диспозиции (карту еле читал), а за счёт особенной своей холодной ярости на поле боя, которую умел сдерживать внутри до нужного момента. Зато, когда следовало ударить, бил своей ротой так, что вонючий смрадный фарш из немецких батальонов делал. Пришел с фронта победителем, жена перед ним встала на пороге, опустив руки и голову, дрожа осиновым листом, винясь, что в военное лихолетье сходилась с непосредственным начальником по службе и жила с ним целый год, так тут же, тут же выгнал вон и жену, и дочь, минуты на сборы не дал. К чёртовой матери!

Предупреждали соседки: ты накорми сначала, приголубь, потом кайся. Нет, убоялась, что со стороны кто первый доложится, тогда вояка без разговоров прибить может, а бывали ведь случаи, скажете, нет? То-то и оно, что бывали. Срочным образом пришлось гражданочке к родителям эвакуироваться в другой город. А фронтовик остался жить фон-бароном в казённой комнате один-одинешенек и вечно в свободное от работы время в какие-нибудь передраги вляпывается: то мирит кого по пьяной лавочке или, напротив, встает на защиту, когда видит, что бьют втроём одного. А может, и за дело учат уму-разуму, за воровство, к примеру. Так нет, не спросясь летит заступаться по дурной привычке к справедливой честности, а морда всегда здорово в ссадинах по выходным бывает.

В понедельник с семи часов утра Скурихин – первоочередной посетитель банного отделения, затем парикмахер стрижёт ему чёткий полубокс, бреет опасной бритвой с роскошной белой пеной, одеколоном взбрызнет – и пожалуйста: чистый, аккуратный служащий, при галстукe, идёт в плановый отдел завода проектно-сметную документацию на счетах считать, хотя у самого четыре класса церковно-приходской школы. Но до утра понедельника дожить ещё надобно, пока субботы вечер, а уже вся морда расхристана в кровяку, летает над крышей Иван Евсеич, спасает мирную жизнь и справедливость от природного издевательства.

Пока летал, успел разглядеть на соседнем квартале в огороде женщину меж помидорных кустов, которая набрасывала на них домотканые «кружки», спасая будущее пропитание от крупного, с голубиное яйцо града, громко сёкшего ржавую крышу, что вознамерилась нынче, пользуясь подходящим моментом, сорваться куда подальше в далекую распрекрасную жизнь, где бы её красили хоть раз в три года суриком. А где его взять, тот сурик, в кукурузном государстве всеобщего и поголовного дефицита? Чай, не подсолнух, на огороде не растёт. «Ловкая какая! – успел восхититься фронтовик, распнутый в очередной раз хвостом железной птицы, приглядываясь к далёкой фигуре и белым оголённым выше колен босым ногам. – Надо будет наведаться как-нибудь в гости, познакомиться честь-честью, а то сплошной непорядок: ходим друг мимо друга, киваем иногда, а по имени не знаем. Нехорошо». Упал опять и, словив момент, принялся быстро-быстро-быстро колотить вокруг себя по кругу гвозди, вгоняя их с двух ударов.

Не успела гроза толком стихнуть, лёд ещё лежал на улице сплошным слоем длинными полосами, а мальчишки кидались им, норовя зафинтилить товарищу прямо в лоб, тогда шишка обеспечена, а синяка не будет, как направился фронтовик с ополоснутой, но не засохшей толком мордой, в новом шевиотовом костюме при галстукe к домику Дарьюшки, будто

кто его желал изо всех сил обогнать, а он про то прекрасно знал и очень торопился успеть первым под раздачу.

И вот, буквально за несколько следующих дней так у них серьезно закрутилось, что в результате осталась Дарьюшка при своих интересах без доверенной квартирантки. Вышла прачка замуж в тридцать пять лет за фронтовика, гвардии капитана, ныне начальника планового отдела Скурихина и даже впоследствии умудрилась родить ему ребенка. Проводила Дарьюшка жилищку с квартиры по-доброму, приданое выделила немалое: две подушки, три стула с высокими спинками. Три – для перспективы, намечая наследника, а сменных комплектов спального белья дала два, зато оба почти новые, всего раза три стиранные, вручила для счастливой семейной жизни, прекрасно сознавая, что простой женщине сегодня замужем лучше оказаться, чем с её недвижимым наследством неизвестно когда.

Повторила тихо, значительно, про то, что «выйти замуж – не напасть, как бы замужем не пропасть», намекая на неровный характер Скурихина, его воскресные подвиги в среде фронтового братства. Прежняя-то подруга убежала с одного взгляда, шмутки ей муженёк в окошко на улицу выкинул, минуты на сборы не дал. Ой, смотри, Полина, потом поздно будет... Нет, всё одно распрощалась прачка с Дарьюшкой. Ну, дай бог, дай бог. Осталась без наследницы, а завещание отменять не стала, пока другого человека подходящего не найдётся. Вечером того же дня пошла муки набрать в кладовку, – лепёшку испечь, хрясь!! – доска половая провалилась. Полетела Дарьюшка сквозь пол, чуть ногу не сломала. Хотела выбраться – крайние доски тоже ломаются кромкой льда у весенней полыньи.

Значит – всё напрасно. Как ни протирала керосином доски, ни скоблила ножом белый налёт, взял свое грибок, съел пол, сожрал, гад бессовестный! Хрустят плашки от легкого веса Дарьюшки. Доползла еле-еле до бачка, открыла, а муки-то и нет. Последнюю выскребла прошлый раз, и где брать – непонятно, не продают никакой мучицы, даже самой тёмной, солоделой – шаром покати. Вот и подняли целину, герои. Засаживали земли широкие бескрайние кукурузой, долины речные и поля по приказу, а пшеницу, говорят, начали покупать в Канаде. Но куда тот пшеничный хлеб девают? У нас его давненько не видели. Зачем только пустили Никиту в Америку? Давно ведь известно, что пусти дурака богу молиться – он и лоб расшибёт. Колхозы под линейку американскую культуру повсеместно выращивают квадратно-гнездовым способом, вызревать она, разумеется, не вызревает, зато хлеба самого обычного, плохонького, по тринадцать копеек, в магазинах днём с огнём не сыщешь, про белый и говорить нечего: на вкус забыли, какой он есть.

За кукурузным пайком, что рот дерёт хуже напильника, с утра очередь страшная выстраивается. Самая тёмная мучица даже из-под прилавков исчезла продавцам на удивление. В школе ученикам талоны выдают, кило в месяц, якобы клейстер делать для бумажных поделок, а прочим – шиш без масла. На трибуне распекает Никита Сергеевич в телевизор: «И на Марсе будут яблони цвести!» – рукой машет от удовольствия. А вокруг лизоблюды светятся лучезарно космическим счастьем. Им что? У них, небось, кремлёвское обеспечение: каждому по потребностям, уже при коммунизме живут. Дурак ты, первый секретарь, пшеницу с рожью надо на полях выращивать, а не яблони на Марсе!

Где бы досок взять на пол? Мучицы где раздобыть, пусть хоть солоделой, да блинцы кислые мягонькие испечь, поесть, изодранным ртом не мучаясь? Оставила Дарьюшка неприятные думы без ответа, спать легла не евши, припоминая на голодный желудок дрожание почвы: явно академик сухопарый опять коньячку заздравного врезал, теперь жди неприятностей. И точно, в ночь ураган прилетел чёрный, без дождя, повалил забор со стороны Юрочкиных, целиком весь рухнул, и прямо на её огуречную гряду! Вот где тридцать три несчастья! Дарьюшка за голову схватилась.

С утра Юрочкин Семен перелез всем многочисленным семейством на её сторону забор поднимать, подпорки ставить. Столбы в земле сгнили, не держатся ни на чем. Забор с этой

стороны считается Дарьюшкиным, ей и ремонтировать его по-настоящему, нанимать строителей, лес искать. Какие расходы, боже мой! На подпорках стоял забор до двенадцати часов дня и от небольшого дуновения полуденного ветра, покачавшись туда-сюда пьяным инвалидом, снова рухнул на огурцы. Делать нечего, бросилась Дарьюшка за стариками-строителями, те пришли, посмотрели:

– Столбики надо новые, – говорят, – эти держать ничего не могут, труха одна, израсходовались полностью.

А где доставать? Ещё трудней задача, чем досок найти. Сжалились старики, натаскали обугленных, но вполне крепких столбиков на плечах аж с Горы, из бора, где тюрьма меняла старый забор на новый: деревянные шестиметровые столбы убрали, поставили бетонные, а прежние в кучу свалили, подожгли. Не успели государственные столбы толком разгореться, как местные жители костер притушили и с риском для жизни растаскали брёвна под собственные нужды. Распилили старики те горелые столбы пополам, вкопали с присказкой «что сгорит, то не сгниёт», забор навесили и ушли. Расплатилась за работу Дарьюшка последними небольшими деньгами, совсем без копейки осталась. Вот умрёшь невзначай ночью – не то гроб купить, яму выкопать не на что будет. А если не умирать, жить дальше, куда как труднее обстоятельства складываются: пол в кладовке надо перестилать, к зиме заготовки делать, машину дров срочно покупать, уголь вывозить, муку для насущного пропитания где-то искать, а пенсию принесут не скоро, и на что, спрашивается, её хватит?

Собрала Дарьюшка с гряды огурцы все подряд, какие narосли: и помятые, и маленькие. Раз плети переломаны – урожая не будет. Отнесла на базар, простояла день, выручила три рубля. Разве это деньги? Нехорошее предчувствие вновь охватило душу – про белые одежды. Ехала Дарьюшка на трамвае с базара вместе с дальним соседом Павлом Петровичем, живущим на другой стороне квартала. Тот простоял день на барахолке, торгуя за дорого большую хорошую перину, но не взял никто. Теперь вёз её обратно – объёмистую, тяжёлую – и был очень сердит. Павла Петровича все звали меж собой Хромой, жену его – Хромой, а вместе – Хромыми, потому что по отдельности они на улице не появлялись, ходили всегда парочкой, и в магазин куда, и в город, и на работу вместе передвигались, в такт, хромая на одну и ту же левую ногу, каждый свою.

Сначала Дарьюшка удивилась, что Павел Петрович подошел к ней на остановке без жены с периной, а потом сделалось стыдно – забыла, что соседка три месяца как умерла от рака. Нынче многие от него мрут. Слоями народ уносят на кладбище. Раньше две-три траурные процессии проходили по улице за день, нынче общей демонстрацией – хмурой ноябрьской – движутся непрерывно, колонны почти не отделяются друг от друга. Спросишь: от чего скончался человек так рано? От рака желудка, ответят, или от злокачественной опухоли, лейкоз ли, рака печени, поджелудочной железы. Говорят, что запретят скоро данные процессии проводить, будут быстренько в закрытых автобусах на кладбище покойников разными маршрутами свозить, чтобы не мешали автомобильному движению.

Хромой работал портным в инвалидной артели, основной доход имея с пошива шапок на дому. Ранее к тому же ещё и скорняжил помаленьку, а когда кролей запретили держать, начал шить простые матерчатые шапки, но и на них имелся большой спрос, ибо в магазинах нет ничего абсолютно. А с базара страшно брать: неизвестно, кто носил и чем болел, как-никак Хромой делает из нового материала, так что к нему многие шли поспособствовать незаконному промыслу. Участковый милиционер о том прекрасно знал, смотрел на подпольное дело сквозь пальцы, ибо если Хромой шить не станет, то кто? Раз на барахолку свои изделия продавать не носит, значит, не спекулирует, сидит себе дома, шьёт вечерами и ночами на заказ, а днём в инвалидной артели работает. Вот если бы кто пожаловался в милицию, дескать, плохо ему шапку сшили на дому, написал бы заявление, то имел бы Хромой крупные неприятности в виде тюремного срока. И не за то, конечно, что плохо пошил, а за то,

что вообще шил, частным незаконным образом создавая ячейку капитализма. Никто, однако, не жаловался: хорошо Хромой работал, грех жаловаться.

Пока ехали соседи в битком набитом трамвае, стояли рядом. Хромой, прижав перину к стенке, думал о чём-то своём. Когда вышли на остановке, сказал: «Всё, хватит с меня, больше на барахолку не пойду. Раз ничего не берут, чего зря время терять?» Дарьюшка лишь пожала плечами, показывая, что хозяин – барин, а её дело – сторона. С трамвая шли вместе. Хромой тащил перину, надрывался, возле его дома молча кивнули друг другу головами для расставания, Хромой вдруг угрюмо спросил:

– А тебе, Дарьюшка, перина, случаем, не нужна? Хорошая перина, высокая, пуховая, настоящая семейная. Года нет, как пошил. А жаркая какая, с ней печку можно сильно не топить, в неё провалишься – и никакой мороз не страшен. Думал – на всю жизнь хватит, а жизнь-то семейная возьми и кончись. За сорок рублей отдам. Возьмёшь?

– Смеёшься, что ли? У меня за душой и в кармане одно и то же: три рубля мелочи, на базаре огурцы продала.

– А за три рубля возьмёшь?

«Видно, здорово умаялся человек таскаться со своей периной, – подумала Дарьюшка. – А спать без жены на мягком не хочет – тоска съедает».

– Коли решил продать, то возьму, да смогу ли унести, тяжёлая, небось?

– Я тебе её сам сейчас донесу, – обрадовался Хромой.

И правда в дом занёс, на кровать положил, показал, как взбивать надо по утрам, чтобы не слеживалась, стояла высоко и за день просыхала. После чего взял деньги, ушел задумчивый, хромая, как показалось Дарьюшке, ниже прежнего, не сказав «до свидания». Перина оказалась мягкой да жаркой, настоящая, точно, без одеяла спать можно даже пожилому человеку, так в ней вся и тонешь. Спустя неделю или дней десять от силы стучится Хромой в окно с улицы. Дарьюшка подошла, форточку открыла.

– Здрасьте-здрассте.

– Ну, как перина?

– Хорошо греет, спасибо.

А вид скучный у Хромого, как тот раз, когда уходил. Неужто, решил обратно забрать? Старушечьи кости быстро к мягкому привыкли, жаль расставаться будет. Зачем продавал тогда? Так дела не делаются. Дарьюшка слегка осерчала.

– А выходи, Дарьюшка, за меня замуж, – говорит вдруг Хромой.

– Зачем это?

– Будем вдвоем жить.

«Как человек по своей перине скучает, даже жениться готов, лишь бы на ней дальше спать», – сообразила Дарьюшка.

– По перине соскучился, что ли?

– Я же серьёзно говорю, ты мне калитку открой, я зайду, сядем рядком – поговорим ладком.

Тут вещая Дарьюшка проникла в суть дела: сама она виновата, больше винить некого. Размечталась на старости лет о белых одеждах, что будет как невеста, аж виделось ей это, вот до небес и достучалась. Ни о чём ведь прежде высшие силы ни разочка не попросила. Решили, видно, там к ней снизойти хоть в данном вопросе, но так как знают наверху, что денег на похороны у неё всё равно нет, решили венчание устроить для старой девы за счёт хромого вдовца Павла Петровича. Заставили беднягу с периной таскаться на барахолку, её упрашивать купить за три рубля, а теперь вот предложение делать. И всё ради того, чтобы могла она в белых одеждах оказаться. Глянула искоса в трюмо Дарьюшка: боже, стыд-то какой!

– Замуж идти планов у меня нет, тут и говорить не о чем. Раньше было рано, а теперь навсегда поздно стало. Извини Павел Петрович, зря ты по этому случаю пришёл.

Хромой покраснел, набычился. Не ждал человек отказа, рассерчал, а стоит, не уходит. Словно через силу её уговаривает, еле языком во рту ворочает:

– Чего так? Вдвоём, небось, сподручней старость коротать. Я шапки хорошо шью, меня знают, голодать не придётся.

– Не в этом дело. Иди домой с богом.

И закрыла форточку. Раскрасневшись лицом, Хромой вприскок зашагал обратно. Страшно обиделся человек, жалко его Дарьюшке. Хорошо хоть не понимает, какую дурную работу заставили сверху делать по её вине и глупости.

– Что, – спросила Анна Фроловна при соседской встрече, – говорят, дала Хромому от ворот поворот?

– А к чему народ смешить? Он – ясное дело, по перине своей соскучился. А мне зачем? То-то и оно, что незачем.

Так чуть не вышла Дарьюшка сверхъестественным образом замуж за какие-то три рубля базарным серебром, хотя многие соседки искренне дивились тому, что не вышла. Сама же она прекрасно понимала: будь у неё в тот день рублей хоть с полсотни денег, умерла бы и похоронена была сердобольной Полиной по всем правилам: в белых одеждах с музыкой и слезами. А так – по бедности – жить осталась.

2. Чего народ не знал

На своем законном квартальном месте, что между Третьим и Четвёртым Прудскими переулками Дарьюшка объявилась тихо и неприметно, как полагается в подобных обстоятельствах – ночью, лет пятнадцать назад, а если точнее, в августе месяце.

Вот ровно из звездной тьмы вытаяла гражданочка вместе с домиком-насыпушкой, сбитым из старых облупленных дощечек на месте прежнего пустыря, летом бурьяном заросшего, зимой шлаком с золой заваленного, и печку сразу затопила испробовать – всё чинчинарём, как положено, ну и слава богу, и хорошо – скажет добрый прохожий человек – нашла бобылка бесприютная свой земной причал, где голову преклонить, сколько можно по чужим углам ходить – горе мыкать?

Такие сказки волшебные на городских окраинах прежде были не в редкость, не у всех они, конечно, получались и не всем с рук сходили; взять, к примеру, многодетную семейку Юрочкиных, что в город вырвались из колхоза всеми правдами и неправдами, – тоже мечтали бедолаги за ночь на квартале нарисоваться в собственном домике по шучьему велению, по семёнову хотению, но... не получилось сразу, как говорится, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.

Имелась до войны на нашем квартале угловая старинная усадьба с обычным для дореволюционных времен сорокаметровым уличным фасадом. В войну дом сгорел вместе с сараем, поленицей и оградой, часть земли оттяпал вновь образованный эвакуированный проезд, старики в скорости перемерли один за другим, не в силах по чужим баням скитаться, про наследников вспоминать нечего, те еще раньше на фронтах головы сложили, короче говоря, пустырь на месте остаточной угловой усадьбы организовался.

А что означает пустырь в жилом городском квартале? Да самое распоследнее дело, скажу вам безо всякого секрета! Во-первых, мигом, глазом не успеете моргнуть, свалка в данном месте возникает из всякой ненужной дряни, затем, хуже того, помойка всеобщая организуется, зарастёт участок бузиной, крапивой, волчьей ягодой, лопухом гигантским, а там, глядишь, по вечерам неприятности с прохожими начнут твориться... приставаания... грабежи... до убийства недалеко осталось.

Крайним к новоявленной свалке оказался дом Кузьмы Федоровича. Пришел старшина интендантской службы с фронта, отдохнуть мечтал немного, только видит – дело обстоит из рук вон плохо, забор – забором, а все одно не жизнь опять предстоит – война. Начал подбирать среди родных да знакомых, кого бы рядом вселить, чтобы не крайним оборону держать от всякого сброда.

Дарьюшка тогда работала вместе с женой его Анной Фроловной на дезостанции, и всю свою взрослую сознательную жизнь обитала по чужим квартирам, мечтая о собственной крыше над головой, как о манне небесной, давно ни на что уже в этом смысле не надеясь. Вот Анна Фроловна возьми и предложи: так, дескать, и так, разлюбезная Дарьюшка, а стройся-ка ты на соседнем заброшенном участке, мы чем можем – поможем, а материал для будущей стройки в нашем огороде готовь, копи доски с опилками.

С год Дарьюшка где только возможно обломки кирпичей собирала на печку, опилки в мешках таскала с отвала спичфабрики, доски и шифер помог Кузьма Федорович на своей базе выписать. Конечно, оформить участок по закону невозможно, никто даже и не пытается: для того надобно несколько лет исправлять бумаги, ходить по инстанциям, толкаться в бесконечных очередях, куда как проще без спросу построиться, и вообще жить у нас можно только без спросу от властей, начнешь спрашивать – быстро в дурдом определяют.

Целые улицы с районами возникали и до войны, и после на окраинах. Порядок строительства повсеместно был учрежден замечательно простой, уж такой простой, что дальше

некуда: коли успел человеке за ночь дом с печью поднять, будь ласков, отдай штраф государству и живи себе, в потолок поплёвывай, даже адрес получишь, чтобы страховку обязательную за свой дом государству платить вместе с налогом на землю и воду.

А коли не смог к утру печку разжечь, тут уж, мил друг, не обессудь, разговор будет суровой прокурорской статьи: быстро трактор разровняет твою стройку в прежнее чистое место. У властей разговор короткий, и тракторист здесь – самый понятный народу переводчик.

Год копила Дарьюшка материалы в огороде у Кузьмы, время пришло – наняла знакомых стариков-строителей да печника. С вечера, в свете фонаря, старики зачали возводить насыпушку в одну комнату с кухней, печник одновременно изнутри печь ладил, вовремя вывел трубу на чердак и в крышу. Холодным августовским утром печку растопили, пошел дым, участковый милиционер явился, как ему и полагается, в восемь утра, черкнул казённую штрафную квитанцию, которую Дарьюшка в сберкассе оплатила и стала жить-поживать, добра наживать сама себе хозяйкой, и даже с адресом, который на обгорелом столбе остался от прежней усадьбы. Через некоторое время забор поставила, а то жители по старой привычке тащили ведра с мусором к её порогу. Спустя год еще одну комнатку прилепила, сенцы, кладовку сколотили ей старики-строители, в огороде – сараюшку под дрова и уголь, вот и зажила тётка своим двором. А то сколько можно по свету скитаться?

Семейство Юрочкиных, куда как более многочисленное, не сравнить с одиночкой, те решили огород городить самостоятельно, никого не нанимая. Денег, конечно, не скопили, откуда, боже мой: еле-еле вырвались из колхозного рабства послевоенной деревни, прибежали в город в чём были, голы как соколы: в корзине шиш вместо трусов. Не то родственники Кузьме Федоровичу, не то односельчане или знакомые односельчан, но люди трудовые, семейные, многодетные. Глава Семен Юрочкин остаток жизни, пока не загнулся после побоев местной шайки, ходил в серой заводской робе литейщика, выданной по новому месту работы, ничего больше не было, костюм себе так и не справил. Жена Клавдия тоже в серой спецовке работала уборщицей в горячем цеху. Безымянный брат Семена, низкорослый и сутулый, в очках, бессменно в сером заводском одеянии цвета вечной придорожной пыли, очень гордился крепостью материала. Его жена – маленькая, толстая, звонкоголосая, в очках и робе вослед прочим тоже рабочая горячего цеха, куда деваться беглым? Известное дело: из огня – да в полымя. Лишь многочисленная разновозрастная ребятня кто в чем бегают, все в разном и с чужого плеча.

С вечера компания принялась ладить насыпушку, но к утру ни то, ни другое закончить не успели, участковый явился, а у них труба на крышу не выведена. Тогда Семен схватил ведро, залез на чердак и в дырку для трубы бумагу в ведре поджег. Дым пошел настоящий, не рисованный.

– Врёшь, не проведёшь, – сказал участковый и скомандовал трактористу: – Вали дурака!

Тракторист наехал на постройку, та затрещала, легко рухнула складным карточным домиком, даже опилки Юрочкины не засыпали, нажиулили стены в одну доску, для вида, надеясь на тёплый сентябрь и последующее бабье лето. Хорошо, Семен успел с чердака сигануть, ничего себе не сломал.

Через месяц, однако, собрались опять с силами, построились за ночь, как Иванушка-дурачок из сказки, и печь затопили. Не дворец, разумеется, а деваться им всё равно некуда, безвыходное положение: или строй, или ложись наземь да помирай всем семейством. Выжили, а дом угловой получился. На крайний-то угол какой только самосвал не наедет в темноте, какой забулдыга стекол с пьяных глаз не расхлещет. А им хоть бы хны – живут себе и в ус не дуют, швеллерами от шоферов отгородились, новый большой дом скоро из шлака надумали лить, благо шлак на заводе бесплатный – бери не хочу, и все у них пусть не сразу,

а получается, от того, верно, что относятся друг к другу по-родственному, семейно, как могут заботливо, без особой ругани и брани. Хорошие соседи у Дарьюшки и слева, и справа, а задние Шлыки – не очень, но какие уж есть, с теми и жить надо.

Да что говорить, пусть неведомо откуда Дарьюшка ночью на городской окраине вытаяла, к ведьмам ее никто не причислил. И вообще до поры до времени в этом отношении между Третьим и Четвертым переулками дела удачно складывались: не было своего местного упыря, ибо персональный пенсионер Шлык не в счет, он в проезде эвакуированном обитает, а это, по большому счету, не считается. Короче говоря, жил народ – жил и не знал, что хорошо ему живется.

А занесло нечисть со сторонухи со дальней и бросило с размаха на долгополовскую усадьбу, крайнюю на квартале, если считать от Третьего Прудского переулка, высоченным старинным забором огороженную, плотным, основательным, в полтора роста высоты, так, что, когда проходишь по тротуару, самого дома не видно. Выше того забора летом шумят-зеленеют раскидистые кроны ранеток-полукультурок, зимой конек заснеженной крыши чуть виднеется сквозь голые ветви.

Вход на долгополовскую усадьбу прежде располагался со стороны проходного Третьего переулка, на котором народу всегда гущина толчется: кто на трамвай бежит сломя голову, кто в школу телепается через не хочу, кто в ближнюю Покровскую церковь ко службе благочестиво семенит, а с нашего квартала калитки не было, однако номер уличный все равно прибит в положенном месте – на заборе. Следовательно, входит дом неким боком в местное сообщество. Вот с этого-то крайнего долгополовского дома и начались местные квартальные несчастья, а вернее сказать: пришла беда – отворяй ворота. Бед и прежде – пруд пруди, успевай только ложкой в рот носить, расхлёбывать, а тут сказать – беда из бед пожаловала ко всем сразу.

Проживала до поры до времени в крайнем домике под родительской крышей пенсионерка, бывшая учительница начальных классов Марья Филипповна Долгополова. Сорок два года в школе оттрубив, ни детьми ни семьей не обзавелась, «все тетрадки проверяла», – так сама отшучивалась – давно уже на пенсию вышла, то ли к восьмидесяти ей шло, то ли недавно за восемьдесят перевалило. К большой для себя горести Марья Филипповна обладала повышенной чувствительностью к шумам, очень мешавшим почивать старушке спокойно, когда, к примеру, окрестные пацаны лезут в ограду ее крайнего домика по вечерней темноте через забор, устраиваются на яблонях, ломают хрупкие плодоносные веточки, в спешке, кривясь и морщась, поедают неспелые яблочки, принося при том себе расстройство молодых неокрепших желудков и головную боль Долгополихе.

Обычно пожилые люди глуховаты бывают, а эта нет. Выскакивала на крыльцо и ругала нарушителей настолько громогласно, насколько умеет бывшая учительница, очень-очень пронзительно, от того ее же собственное сердце обливалось кровью, стучало всю ночь далее торопливо и гулко, мешая уснуть, а мальчишки, попрыгавшие с деревьев на улицу злились за порванные штаны да неудачную экспедицию, отвечали ей, прячась за палисадником, взрослыми матерками. И днем доводили старушенцию, стуча по забору палкой и убегая с довольным хохотом. Жаловалась пенсионерка всем прохожим людям подряд, стоя днем возле своей калитки, от недосыпания и полного расстройства нервной системы лицо ее потемнело синью, под глазами совсем черно сделалось, ну, извините за сравнение, вылитая ведьма. Опершись на клюку, жалобно и зло взывала к знакомым и незнакомым прохожим, прося избавить от надоеданий мальчишек, воздействовать как-то на проходимцев-извергов.

Женщины с Третьего Прудского переулка и соседних улиц сочувственно выслушивали ее плачи и стоны, тут же клятвенно обещая поговорить «со своим», наказать, оттащить за чупрыну, призвать к порядку, одним словом, утешали беднягу, рыдающую у себя на пороге, как только могли. Но подростков самых разных на квартальном перекрестке

по школьной дороге шляется уйма, всех за вихор не перетаскаешь, когда «позлить ведьму» стало развлечением чуть не для всего подрастающего поколения. Эх, знали бы соседи, какое наказание выпадет им впоследствии, назначили бы дежурных охранять спокойствие одинокой учительницы, отдавшей годы и жизнь без остатка школе номер тринадцать, но никто не думал о грядущей беде, не гадал. В конце концов измученная учительница отмаялась – умерла. Приехавшая из деревни родственница скоренько похоронила тетку и, не дождавшись девятого дня, продала домик что-то очень задешево, уехала восвояси, будто кто гнал ее отсюда железной метлой, даже лица не запомнили, так племянница торопилась.

Скоро на место учительницы вселился старичок. Сам себе одинокий, без старушки, без детей и внуков. Одет чистенько, опрятно и скромно, сразу видно, что не пьяница: рубаша светлая, с длинными рукавами, брюки не латаные, ремешком плетеным подпоясаны, на голове фуражка с козырьком на глаза низко надвинута. Возможно, дети где в городе живут. Мужской силы в плечах – ни грамма не осталось, косточки под рубашой торчат одни. Худенький такой, изжитой. Ясно дело: бабка, небось, преставилась, дети папашу из деревни забрали, сняли с насиженного места, в город перевезли, чтобы под боком был, не затосковал, с огородиком да внуками возился. Ну, этот долго здесь не продержится – замучает беспризорная шпана.

Откуда она только взялась в нашем тихом, спокойном месте? А отцов в семьях нет, от того в руках их держать некому, остратки лишены оказались. Даже те мужики, что с фронта вернулись, все изранены, калеки, да к наркомовским граммам водки приучены, спились дома окончательно, перевыполняя норму, какие из них воспитатели? Уличная вольница деток воспитывает, и плоды, что называется, на лицо. Ох, замучает старичка стуками в забор днем да ставни ночью орава уличная, беспардонная, сведёт, как бабушку-учительницу с ума, веселья своего дурного ради. Ранетки заломают, огород вытопчут, стекла оконные камешками разобьют, в форточку открытую песка накладывают. Эх, дедушка милый, не туда ты прибил для упокоения, сидел бы на родном месте до конца, а коли край подошел – подавался в тайгу к медведям, в скитах скрылся вечным странником, глядишь, целей бы оказался и прожил доле. Так рассуждали меж собой соседки, качая жалостливо головами.

Как-то сразу объявилась в заборе со стороны нашенского квартала калиточка, будто по шучьему велению, никто не видел, как строилась, верно, тоже ночью, при ней лавочка низенькая, и дедушка на ней сидеть нарисовался. В давние времена имелась со стороны Третьего переулка у ворот рядом с палисадником при доме скамеечка, но потом как стали на ней усаживаться вместо бабушек ночные компании – пить-гулять, учительница от нее отказалась, убрала. А дедушка вон какой бесстрашный человек оказался: смастерил из новых досточек на другую сторону да уселся у черного нового входа с нашей улицы. Ни дать ни взять – ранетки свои охраняет. А такое, между прочим, чувство, будто кто во дворе у него работу постоянно скрытно работает, топором, молотком постукивает, но не дедушка, дедушка на скамеечке восседает, словно в деревне на завалинке.

Однажды утром пошли соседи за водой на колонку, что напротив долгополовской усадьбы возле арендного дома имелась, глядь, не торчат над забором кроны яблонь, зато высится аккуратная голубенькая голубятня. Раз яблони исчезли, лазить в ограду мальчишки не будут, а не будут лазить – гонять он их не станет, не разозлятся они, так и в забор не будут камнями кидать, стекла бить, в ставни по ночам стучать, может, и выживет старичок на углу – рассудили сердобольные соседки. Выходит, голубятник поселился, и совсем не деревенский дедушка-то наш, всем известно, что в деревне колхозному народу некогда голубями заниматься, стало быть, городской старичок этот. Пенсионер, местный, бывалый человек. Ну, значит, нечего за него переживать.

Однако в скорости поняли, что опять же слегка ошиблись. Старичок «своим» не призывался и на все самые благожелательные приветствия, будь то «Добрый день!», «Здрав-

ствуйте!!!» или просто «Здорово, сосед!», отвечать не думал, даже смотреть не желал. И не глухой, вроде. Поздоровается с ним прохожий, старичок низко опущенную голову поднимет на секунду, зыркнет из-под козырька оловянным взором и тут же опустит молча, гмыкнет нечто неопределенное себе под нос вроде «Ну да?», а скорее – «Пошел к черту». Такие странные дела необъяснимыми оставались весьма недолго, любопытен местный народишко, ох, любопытен!

Замечено, что присаживаются частенько к старичку-новичку востроглазые людишки, кои также ни с кем не здороваются, но и глаз не отводят, смотрят на прохожего человека пристально, будто всасывают в глотку вместе с рассолом огурец мягкий с перепоею и, высав, сплевывают кожуру в сторонку. В основном братва средних лет, легкие, вертлявые, с нерабочими руками. Они вели со старичком тихие продолжительные беседы, уважительно и даже как-то подобострастно шепча ему на ухо неизвестно что. А как пойдет мимо скамейки обычный прохожий, смолкают и нехорошо взглядом ощупают со всех сторон, будто желают со свету сжить и место выбирают, под какое ребро удобней финку вставить. От того народ поодаль начал ходить, кто по дороге, а женщины вообще стараются по другой стороне улицы обходить неприятную лавочку.

Бывает, старичок вдруг исчезнет, тогда из-за забора раздаётся пронзительный свист, что не только его собственная голубиная стая в небо взмывает, но и все окрестные с перепугу в полет наладятся. Частенько старичковы голуби приводили чужих на свой насест, в ловушку. Хочешь – не хочешь, а приходилось тогда окрестным голубятникам идти на поклон к лавочке, выкупать своих турманов.

Дедушка цену назначает высокую. Стоит, допустим, тот голубь рублей пятнадцать на базаре, так без десятки к нему и не ходи за выкупом. И упрашивать бесполезно, и стыдить опасно. Отец с сыном пришли как-то за своим голубком, который дедушкина стая увела, просят отдать, а тот высоченную базарную цену заломил без всякого стеснения. Отец ему и говорит: «Нехорошо, не по-соседски себя ведете, пожилой ведь человек, вернули бы по дружески бесплатно. И не жалко вам детей без забавы оставлять?» – «Значит, изверг я получаюсь? – изумился дедуня, а у самого олово в глазах так и плавится, так и плавится, просто кругами ходит. – Извергов ты, папаша, не видал ещё. Но раз хочешь бесплатно – изволь, бесплатно верну. Раз бедные вы такие здесь оказались, вот те божеская милость. Ежели нищие и кушать вам на обед нечего – нате, сварите супчик». С этими словами голубю шейку свернул и бросил комком белых перьев прямо под ноги отцу с малым сыном.

Разве не Змей после этого? Самая что ни на есть змеюка подколотая. За оглушительный разбойный свист, от которого старухи хватались за сердце, бесчеловечность да нелюдимость прозвали нового соседа Змеем Орынычем, но оказалась та кличка не последней. Хотя имени настоящего не узнал никто никогда. Вот такое наказание свалилось на квартальный народ за печальную участь бедной учительши. Поминали её бабы теперь часто, чаще, чем когда жива была.

Как-то в редкостно удачный день повезло вдове военного времени Савишне купить сразу целое ведро яиц, сто штук, что-то с торговлей случилось, продавали тот раз без нормы, сколько хочешь – столь и бери, большую очередь отстояла и несла-тащила домой, на свой Первый Прудской аж с магазина на Пятую. И на ту взяла, и на этого, и вот проходит мимо дома углового, долгополовского, ничего плохого не подозревая, а из-за забора Змей этот Орыныч в ту самую минуту как засвистал, так у нее ведро из рук и выпало. Много яиц побилось, тут Савишна не выдержала, горько расплакалась по бедной учительше, что в начальной школе ее писать-читать научила! Расплакалась-разрыдалась, будто вчера только беднягу схоронили: «И на кого же ты нас покинула, Марья Филипповна, учительница первая моя!»

Один только Борис Давыдович смог разговорить углового старичка просто так, за здравие, полчаса у лавочки простоял, речи с ним вел обаятельные. И старичок отвечал, и даже

на прощание улыбнулся тому скалозубо серебристым металлом в ответ на золото Давыдыча, бабка Балабаиха из своего окошка наблюдала, все через дорогу видела. Далеко очень хорошо видит, несмотря на возраст и толстенные линзы в очках, а под носом – абсолютно ничего ни в очках, ни без оных.

На то он и есть Борис Давыдович, самый прелестный на квартале человек. Дружен со всеми в округе – не разлей вода, хотя без совместных чаепитий, и как бежит шустренько с ведром за водой на колонку, со встречаемыми соседками обязательно перездоровается, никого не пропустит без смешного слова, мужчинам руки пережмет, байку новую веселую расскажет, лихо да быстро. Каждому ребенку трехлетнему, что в пыли с машинкой играет, улыбнется, похвалит: «О, це хлопец! О це я понимаю! Шофером будешь!» Ах, как при том улыбается в тридцать две золотых коронки Борис Давыдович, просто червонцем царским дарит. Приятнейший человек – любой вам скажет, без всякого сомнения, а работает, между прочим, не маленьким начальником – директором магазина музыкальных принадлежностей, пластинками заведует и всяким прочим музыкальным имуществом, включая балалайки с мандолинами. Прежде торговой инспекцией заведовал, а до того трест Вторчермет возглавлял. Номенклатурный человек, как из высшей касты, – он всегда директор, хоть прачечной, хоть шляпной мастерской, но директор. Живет Борис Давыдович с женой Фаней, дочерью Риммой и зятем Иваном в половине двухэтажного казенного дома. Другую половину две семьи занимают поэтажно, а у них свой отдельный вход и оба этажа. Двор бетоном залит – ни травинки, ни соринки, сверху закрыт, потому там темно, зато зимой снег лопатами на улицу не таскать, огорода не держат, имеют гараж внушительных размеров, в гараже машина «Победа» стоит. Хорошо живут, интеллигентно, обеспеченно. К себе местных никого не приглашают, сами ни к кому не заходят – исключительно на улице общаются.

Соседки, конечно, заметили, что Давыдович с Орынычем разговаривал, принялись любопытствовать, на какую тему:

– О голубях, небось? Борис Давыдович?

– Зачем? О музыке. Новый сосед наш музыку любит, я пообещал ему пластинок достать, джазовые композиции, между прочим, ну и так, еще кое-что по мелочи.

Соседки переглянулись: смотри-ка, что на белом свете делается. Борис Давыдович дальше не побежал, как обычно, продолжил беседу с соседками, но уже почти шепотом:

– Вы, дорогие женщины, осторожнее будьте, не ругайте его Змеем громко, нельзя так, особенный он человек.

– Чем это Змей особенный, тем, что голубям при детях шеи крутит?

– Да как вам сказать. По одному его слову могут любому из вас головушку в одну секунду оторвать. И вообще, меньше мимо него дефилируйте, не любит он этого, лучше вовсе в ту сторону не смотрите, будто не замечаете. Так-то я вам скажу, дорогие и бесценные.

Но и без Бориса Давыдовича всем ясно, что Змей – шишка уголовного мира. Крутятся вокруг него «шестерки», ублажают, доносят, а он главный у них вор. Охо-хо-хо, вот где наказание квартальному народу выпало за обиженную проказливой пацанвой старую учительку. Тяжелый человек Орыныч, хоть и мелконький на вид, ох какой тяжелый! Голубю, почитай святому духу, шею сворачивает при ребенке. Нелюдь вылитый, упырь, одним словом. И стали потихоньку соседи нового соседа промеж собою Упырем называть, душегубом, значит. Народ у нас толковый, насквозь жизнь видит, Упырем старичок оказался взаправдишным, на все сто двадцать процентов, души губит человечьи, уродует, на этом скверном деле процветая. Подтвердилось это в скорости самым невероятным образом, ибо история на квартале приключилась, и надо вам сказать, история нехорошая.

Служил один полковник от артиллерии в Германии вместе с семьей, женой и детьми. Вышел срок службы по возрасту, уволился артиллерист из армии, перевез семейство в Союз, получили большую квартиру в Калининграде, а родители его к тому времени умерли

в нашем городе, знаете домик рядом с угловым домом Упыря? Низенький, опрятный, доской-вагонкой обшит, выкрашен в зеленый цвет. В нём родители жили. Сказал полковник семье: «Поеду на родину, продам родительский дом, какие-никакие, а деньги». На что жена, естественно, дала разрешение. Он и уехал. Месяц прошел – не возвращается, другой проходит – тоже нет его. А полковнику так понравилось дома жить, на родине, где он вырос, что не стал продавать дом родительский, поселился в нём и живёт месяц, другой да третий, на кладбище к родителям ходит, навещает, добродетельный сын. Жене звонит: «Приезжай, здесь доживать старость станем, очень у нас хорошо». Та ему в ответ: «С ума я пока не сошла в Сибирь на поселение ехать. Калининград – тоже, конечно, не столица, но, по крайней мере, Европа. И квартира благоустроенная, зачем нам опять в частный домишко забиваться, неужто печку захотел топить на старости лет?»

Дело кончилось тем, что отказалась ехать на мужнюю родину супруга, осталась в казённой калининградской квартире, а полковник – в домике своем. Прикипел к родине душой накрепко, хорошо ему здесь – и точка. Одно не нравится – глянешь в окно, а там, на улице серым-серо: песок да зола, да старые тополя, а в Европах привык лужайку перед домом лицезреть. Сначала кустики сирени три штуки посадил, потом достал где-то специально семян травы, пенсия у него хорошая, военная, полковничья, рассыпал, полил, возшла травка зелёнькая, но люди же неосознательные – ходят, как попало, не соблюдая тротуаров, песок большой обходят, – вот и вытоптали травку.

Тогда полковник огородил перед своими окнами вокруг кустиков сирени палисадник, раскрасил штaketник опять же зелёной краской, привёз чернозём, снова посадил травку, возшла она изумрудным ковром. Поливал её по утрам и вечерам из лейки заботливей, чем иной огородник огурцы с помидорами. Травка принялась густая, изумрудная, скоро уже и поливать не надо. Красота! Ранним утром войдёт полковник в палисадник через калиточку, стоит, наслаждается жизнью, душа его радуется. Со всеми здороваётся, разговаривает о жизни, никуда не торопясь, о нем так и говорили соседи: «Наш артиллерист – душа человек».

Здоровый был Иван Иванович по всем статьям, ни на что не жаловался, в поликлинике на учет не успел встать, а вдруг ни с того ни с сего умер прямо в палисаднике своём. Не сам умер, разумеется, Упырь его умертвил. Говорю же – старая Балабаиха своими глазами видела...

...Вышел полковник с утра пораньше на улицу, чувствует, как радость наполняет душу от вида светлого неба... запаха земли... вздохнул свежий воздух полной грудью, душа и распахнулась, тут Упырь его и подкараулил, как на грех, в это время рядом оказался, у своего дома на скамейке сидел, из-под кепки по-волчьи зырил, голубя в руках держал.

– Эх, – говорит Упырь, – хорошая у тебя, полковник, трава в палисаднике выросла, длинная, волнистая, будто на могилке родительской. Стричь её пора.

Глянул на него полковник с возмущением, слова вымолвить не успел – упал, как подкошенный, а душа от него растерянная в сторонку отлетела. Это когда стареет человек обычным образом: болеет телесно, слабеет, душа потихоньку учится во сне отлетать, а когда внезапно убивают, теряется она, не знает, куда деваться, будто оглушённой оказывается. Подбросил Упырь голубя, тот взлетел вверх, душа думала, что в рай он полетит, к нему присоединилась, а голубь в голубятню юркнул, там его Упырь и держит ныне с душой человеческой заодно...

– Нет, не там, не в голубятне, для душ у него специальное место имеется.

– Где?

– В доме напротив, что сначала в аренду сдавали хозяева, когда в Москву на новое место жительства переехали, а потом вовсе пустым остался стоять. В том московском доме ночью огни загораются за ставнями запертыми. Вы приглядитесь получше вечером – сами увидите. Думаете, просто Упырь против того дома вселился? Нет, не просто – наблюдатель

он за душами убиенных, сторож их и насильник. Видали, утром Черный Кот из пустого дома через ограду прыгает? С чего вдруг Чёрный Кот в пустом доме поселился? Чей? Откуда взялся? Упырь это!

На сих вопросах соседки примолкли, как в рот воды набрали, да скоренько по домам разошлись. Страшно в темноте разговоры подобные вести, как бы на ночь глядя беды не накликать!

3. Долгожитель Васюта

Занемогла Дарьюшка окончательно: ноги ходить отказались, руки не поднимаются, силы враз оставили – слегла пластом среди бела дня, чего прежде никогда не бывало. Как на грех, Полина в больницу на сохранение легла, ну, конечно, соседки заглядывали проведать, пирожком угостить, но всем надо свои дома с хозяйством вести. А Дарьюшка совсем что-то плоха, на то сильно похоже, что дело к концу движется.

Тут сёстры-богомолки вновь объявились и уговорили болезную пустить к себе на квартиру истовую прихожанку Лизавету Павловну, у которой сын пьющий, бедовый, жить с ним верующему человеку не вмоготу, надо где-нибудь хоть временно перебиться, отдохнуть. Но что делать, когда деваться некуда, согласилась Дарьюшка на квартирантку, сговорившись, что жить та будет в своей комнате бесплатно, хозяйство вести общее, готовить, стирать, а потом, как оклемается Дарьюшка, там видно будет, может и завещание на нее переделает.

Варила Лизавета исключительно постное хлебобово с капусткой да кашу овсянку на воде, покупала самый дешевый хлеб за тринадцать копеек, уходя в церковь на весь день, закрывала Дарьюшку на ключ, та лежала, глядела в низкий потолок, ждала смерти.

Сначала свою комнату Лизавета обвесила иконками, лампадку приспособила, потом в дарьюшкиной гвоздиков набила вокруг красного угла, из церковной лавки в кредит несколько ликов принесла и лампадку воскурила. Трудно дышать стало в сладкой духоте благовоний, попросила Дарьюшка убрать от себя ладан, но квартирантка не стала потворствовать грешнице: «Это в тебе черт просит лампаду загасить, больно плохо ему, черту, со святыми угодниками соседствовать, пусть сам прочь убирается. Ты, Дарьюшка, терпи, а главное – молись. Постом да молитовкой изгоним дьявола, сразу легче жить станет».

Дарьюшка постовала, молилась за упокой маменькин, тятенькин и всей своей некогда большой семьи, терпела. Сил не было ни на что другое. Однажды вдруг ни с того ни с сего захотелось ей испить пивка свеженького: всего бы пару глоточков, никогда такого не было, а тут востребовалось, ну, стала просить Лизавету о последнем желании – купить ей с пенсии бутылку жигулевского. Богобоязненная квартирантка, конечно, воспротивилась, сославшись на происки дьявольские.

На следующий же день явился молодой полный батюшка в ризе, с большим крестом, причастил болезную, отпустил ей грехи вольные и невольные, во время этого святого таинства Дарьюшке по-прежнему очень хотелось хлебнуть холодненького пивка, но заикаться батюшке, просить принести было совсем неудобно, как начнет пуще прежнего кадилом махать, и так в доме дышать нечем.

Наложила Лизавета на Дарьюшку полный пост, есть ничего нельзя, одну святую воду пить не запретительно. Поставила кружку с сырой водицей на табурете возле кровати и унеслась в город по своим церковным делам, замкнув больную на ключ. К вечеру отпила Дарьюшка глоточек из той кружки, сползла с кровати, добралась до окна, открыла форточку, стала людей звать. Услышал тракторист Фома, подошел к окну: «Чего, Дарьюшка, тебе?» – «Ой, пивка бы купил бутылочку жигулевского, так хочется пить, прямо спасу нет! Болею я. Купи, Фома Фомич, пожалуйста, выручи, я тебе деньги с пенсии отдам». – «А богомолка твоя где?» «В церковь ушла, на ключ закрыла, наказ дала постовать, вчера к смерти батюшка приходил грехи отпускать».

Сходил Фома в магазин, принёс бутылку жигулевского пива, открыл, передал в форточку. Выпила Дарьюшка полстаканчика, ах, как хорошо, аж от души отлегло. Сильно полегчало, мысли о грядущей смерти разлетелись в разные стороны, но вечером опять согрешила – рассорилась с Лизаветой всерьез.

Та задумала свечной заводик на кухне устроить: печку в летнюю пору растопила, сверху бак с водой поставила кипятить, чтобы недогоревшие церковные свечи расплавлять в воск и снова из них свечи лить. Не одна работёнкой занялась, Катерина с Марфой тут же, в деле. Сделалось в избе до невозможности жарко, сыро и душно. Возмутилась Дарьюшка, что не дают ей не только выздороветь, но и умереть спокойно, стала выговаривать жилицам тихим голосом, те в ответ за словом в карман не полезли, и под вечер развернулась настоящая баталия, хоть святых выноси. Как на грех, обнаружила по запаху Лизавета бутылку пивную, и уже тогда не стало ей удержу, провела по всей форме дознание, заставила признаться Дарьюшку, кто ей пива покупал: «И до Фомы этого доберусь, совратителя христианок, рад не будет! Ишь, змей подколодный, в форточку пролез! Марфа, бери молоток, срочно заколотить!»

Ночью приснились Дарьюшке дедуся покойный с бабусей, словно бы снова дома на лавке у печи сидят и с ней разговор ведут: «Хватит тебе разлёживаться, внучка. Вставай, бери лукошко, клубок шерстяной в него клади да езжай с богом на родину: сколько лет дом без хозяев стоит, надобно навестить». Хоть Дарьюшка при смерти лежала, а получив наказ, легко восстала среди ночи, бесшумно собралась и канула во тьму городских улиц.

Лизавета слышала, как она собиралась, разглядела даже в лампадном свете, что веки Дарьюшкины были при том закрыты, но кричать убоялась, заподозрив настоящую ведьму: «Спаси, сохрани, Господь наш, милосердный!»

Не очень далеко на поезде ехать, в соседней области родина находится. Пшеница здесь не вызревает, а рожь со льном в их деревеньке знаменитые были. Приехала на место, лес свой нашла, а деревню – нет, и кладбища нет, повсюду бескрайние поля, на которых стоит-сохнет чахлая кукуруза без початков, по большей части заросшая овсюгом да лебедой. У озера сидел бородатый старичок с удочкой, в рваных штанах, рваной шляпе, одной рукой удил рыбу, другой не было. Ловля подвигалась бойко, то и дело поплавок из пробки нырял, и в небольшое ведерко плюхалась очередная мелкая рыбешка.

Присмотрелась Дарьюшка к стариковской ухватке, вспомнила:

– Здорово, Поселенец.

Тот обернулся. Жевал, жевал взглядом, тоже догадался:

– Дашка, однако?

– Она.

Поплавок мелко сплясал, рыбак дернул удилище, сокрушенно полез за червяком в консервную банку:

– Обьели, коммунары. Зря ты вернулась: ничего здесь нет, рыба и то в мелочь выродилась, кроме гольянов ни хрена. Раньше-то, бывало, какие караси ходили! Как народ извели, ни одна зараза лед не долбила зимой, задохнулась рыба к чертям собачьим. А потом, кто станет за столько верст бегать, лед долбить? Укрупнили деревни, свезли дома в одно место. Добывает Микитка последнее, на что у Ленина со Сталиным сил не хватило. Изживает деревню напрочь, хуже фашиста: тот жег, этот топил. Ты зря пришла, ничего здесь нет: ни домов, ни дворов, вишь, под поля распахали...

– А я помню, – перебила его Дарьюшка, сторожко оглянувшись вокруг, – как Ленин умер. Зимой, в страшный мороз собрали деревенских у сельсовета, с крыльца зачитали сообщение. Все плакали прямо на морозе, тятя плакал, и я заплакала.

– Дураки, – плюнул в сердцах Поселенец. – Вечно-бессрочные. По Сталину, небось, тоже плакали?

– Нет, по Сталину не плакала, нечем было. Значит, от наших мест примет не осталось? А я хожу, смотрю-смотрю, понять не могу.

– Зря ищешь, кладбище и то запахали, уроды, у них ведь план по вспашке земель из года в год повышается!

– Ты в колхозе сейчас?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.